

Рецензии

Неравенство равных. Концепция и феномен ресентимента

ЛЕОНИД ФИШМАН

М.: Издательский дом Высшей школы экономики, 2024. – 272 с. – 600 экз.



«Призрак бродит по миру, призрак ресентимента» – этой переиначенной Марксовой фразой начинается новая книга Леонида Фишмана, политолога и профессора РАН. Отсылка к «Манифесту Коммунистической партии» сразу же задает тон радикальному переосмыслению классического взгляда на ресентимент, сформулированного Фридрихом Ницше и Максом Шелером. Автор обращает внимание на апроприацию термина в качестве своеобразного стигматизирующего клейма, производимую самыми разнообразными политическими силами – правыми и левыми, демократами и республиканцами, глобалистами и националистами, фундаменталистами и либертарианцами.

Подобная вездесущность ресентимента заставляет автора задуматься: а существует ли он вообще как объективный факт общественной жизни? Тем более, что вынесенная в заглавие формула «неравенство равных» противоречит ницшеанскому подходу, в рамках которого ресентимент был чувством бессильной злобы, ненависти к более могучему и более успешному субъекту, ведущим к «переодеванию» нужды в добродетель и последующей переоценке ценностей. Такой комплекс эмоций, по утверждению немецкого философа, характерен для «морали рабов» и абсолютно чужд аристократии. Автор, однако, уже в самом начале книги подвергает сомнению концепцию ницшеанского аристократа, противопоставляемого объекту своей зависти и чуждого ресентименту по определению.

Деконструкции этого образа посвящены первые три главы книги. Главный вывод состоит в том, что ресентимент если и не зародился среди аристократии, то впервые проявил себя именно как ее «умонастроение» – хотя бы потому, что только аристократия первой смогла изложить свои ощущения на бумаге. Среди главных катализаторов ресентимента у дворян автор называет систему майората и институт бастардов: они не позволяли формально равным сыновьям представителей «благородного сословия» одинаковым образом наследовать социальный статус и богатства предков. Свой тезис Фишман подтверждает обширными культурологическими экскурсами, в которых задействованы новеллы Гофмана, скандинавские легенды, романы Теккерея, трагедии Шекспира, стихи Пушкина, памфлеты Вольтера. Он повсюду обнаруживает сходные художественные

образы, воплощающие зависть одних аристократов к другим.

Дифференциация дворян, по мнению автора, неизбежно приводит к зарождению ресентимента внутри этой прослойки, проявляющегося, например, во взаимной неприязни дворянства шпаги и дворянства мантии. Особую роль в этих процессах играет монарший двор, поскольку «именно там во всей полноте разворачиваются взаимодействия, пронизанные неравенством, попираемые слабым сильным, менее знатных более знатными», маскируемое при этом утонченным этикетом и формальным равенством (с. 47). Вытекающий отсюда тезис, который вступает в прямое противоречие с выкладками Ницше и Шелера, можно считать отправной точкой для всей дальнейшей логики книги:

«Ресентимент скорее проявляется в обществах и социальных группах, состоящих из людей, примерно равных если не во всех, то во многих отношениях, но неравных фактически» (с. 60).

Конечно, читая такое, хочется упрекнуть автора в евроцентризме, ибо его культурный анализ касается исключительно европейских сюжетов – тем более, что именно отсюда проистекают все последующие рассуждения. Кроме того, апелляция к концепции «бунта кшатриев» Рене Генона, используемая, чтобы окончательно уличить аристократов в склонности к ресентименту, кажется несколько нарочитой. Тем не менее Фишман вполне убедительно показывает предвзятость классиков во взгляде на старый порядок, а проповедуемую ими дуалистическую природу ресентимента он едко признает «романтической эмпатией к деклассируемой аристократии» (с. 114).

В последующих главах автор анализирует историю теоретического осмысления ресентимента, связывая ее с национальными особенностями и историческими контекстами, постепенно приближаясь при этом к со-

временности. Последовательно рассматривая Францию, Германию и Великобританию, он в каждом случае обнаруживает национальные особенности ресентимента (а иногда и местные способы борьбы с ним). Во Франции на первое место выходит взаимная зависть, с одной стороны, буржуазии, ущемленной в правах, но стремительно богатейшей, а с другой стороны, старого, но в основном измельчавшего дворянства, у которого не получается конвертировать прежние привилегии в новое богатство. В Германии, где отход от старого порядка оказался более мягким, ресентимент проявлялся в чувстве ущербности при сопоставлении себя с другими нациями: ведь немцы – формально такие же европейцы, но у них нет ни колоний, ни единого национального государства. Наконец, Великобритания предстает победительницей ресентимента – прежде всего за счет самовосприятия себя как величайшей «империи, над которой никогда не заходит солнце», – что ощутимо сглаживало социальное неравенство, недовольство правами старой аристократии, межнациональные конфликты.

Ресентимент, трактуемый подобным образом, обнаруживается в рядах не самых обездоленных, а скорее «недостаточно возвысившихся» классов, будь то немецкий барон, французский магнат или шотландский лендлорд. Но где же здесь, однако, «мораль рабов», о которой столь пламенно писал Ницше? Автор избавляется от этого противоречия, вводя в оборот понятие «взгляда, обнаруживающего ресентимент», под которым понимаются «экстраполяции самосознания деклассируемой аристократии [...] на другие социальные группы» (с. 96). Столь явная авторская непочтительность к классическому термину могла бы, в принципе, завершить книгу на середине, но Фишман предусмотрительно сделал оговорку, призывающую использовать новоизобретенное понятие осторожно. В подкрепление своей позиции он ссылается на

примеры из общественно-политических дискуссий современной России, в которых и условные «либералы», и условные «патриоты», перебрасываясь обвинениями, обоюдно принимают расширять понятие ресентимента – не замечая, что он начинает проступать в них самих, почти как в нищающем нищенском аристократе, не умеющем угнаться за переменами.

Переходя к современности, автор опять обнаруживает «неравенство равных» – на этот раз как сущностную основу либеральной демократии, при которой непропорциональная влияние одних людей зиждется на идее всеобщей «одинаковости» избирателя. На это накладываются расовые, культурные, образовательные, классовые и гендерные различия (последним в книге уделен целый раздел). Политика мультикультурализма и толерантности в подобных условиях лишь маскирует, по мнению автора, реальное неравенство, не пытаясь его преодолеть и порождая двойные стандарты. Таким образом, «либерально-демократическая парадигма [...] создает предпосылку для формирования характерного для ресентимента чувства безальтернативности – ввиду того, что она провозглашает конец истории» (с. 136).

Последним гвоздем в гроб нищенских интеллектуальных построений становится утверждение о нормальности ресентимента – или даже о его общественной полезности в качестве стабилизирующего фактора. При этом в книге критикуется как правый, так и левый взгляд на ресентимент. Первый провозглашается «риторикой реакции... для которой любое недовольство, ведущее к переоценке ценностей, [...] является не чем иным, как плодом зависти аутсайдеров к успешным людям» (с. 194). С левых же позиций ресентимент видится препятствием для продвижения вперед, поскольку его носители акцентируют внимание на прошлых травмах и перенаправляют ненависть с несправедливой системы, взятой в целом, на

свое место в ней. Автор весьма точно подмечает двойные стандарты левого дискурса, в рамках которого культура виктимности жертв Холокоста или рабства предстает морально правильной и социально важной, но попытка Трампа сыграть на подобных чувствах в отношении других социальных групп обличается как ресентимент.

Для Фишмана нынешний президент США оказался идеальным наглядным пособием, которое не раз используется на страницах книги. Трамп изображается и как старый правый, который обвиняет левые массы в переоценке ценностей, и как революционер, стремящийся изменить нынешний баланс политических сил, и как идеолог, возглавляющий войну против доминирования левых в культуре. Одновременно он выступает в роли популиста, играющего на зависти и страхах социальных слоев, обиженных действующей системой. Во всех этих ипостасях американский президент либо обвиняет в причастности к дискурсу ресентимента других, либо же обвиняется в том же грехе сам.

Из всего сказанного напрашивается простой вывод: навешивание подобных ярлыков, принижающих уровень дискурса оппонента, является манипуляцией, которая призвана представить позицию противника как морально ущербную – будь то посредством обвинения в популизме, выдвигаемого в отношении демократического процесса борьбы за голоса, или через нападки на противника как на фашиста, которые в наши дни граничат с полной бессмыслицей. Подобные упреки говорят больше о самих обвинителях, нежели об обвиняемых.

Отсюда, собственно, и главный вопрос, задаваемый автором: «А судьи кто?». Где та социальная позиция, с которой можно изобличать ресентимент, если идеальный аристократ не более чем романтическая мечта немецких классиков? В подобном выхолащивании понятий автор усматривает

«кризис западной парадигмы политического мейнстрима, в результате которого теряют актуальность классические понятийные дихотомии» (с. 217). В описанном контексте появляется некая социальная норма, определенная конкретным дискурсом, которая фиксируется как «конец истории» и любое отклонение от которой воспринимается как недопустимая аномалия, требующая коррекции в соответствии с социальным идеалом. Этот идеал варьирует у различных политических сил, но обвинения в ресентименте, используемые как оправдание для игнорирования любых отклонений, присущи любой из них.

Иными словами, тот самый взгляд, который обнаруживает и обвиняет, есть лишь попытка поставить себя в положение «господина», придерживающегося «нормальности». Однако это ведет к взаимным обвинениям, а также к тому, что ресентимент проникает во все сферы общества: ведь «все начинают сравнивать всех со всеми, и никто не является олицетворением нормы» (с. 232). В таком контексте ресентимент превращается в «духовную скрепу» общества, поскольку сама норма есть серая реальность, которой никто не доволен и которую все стремятся преобразовать. Тем не менее она объективно существует, в отличие от любых дискурсов, которые тяготеют к фантазиям.

В последней главе, завершив представление описанных выше ярких аргументов и радикальных трактовок, автор делает лирическое отступление, которое можно считать завершающей иллюстрацией ко всему повествованию. Фишман обращается к ставшему классическим для российской политической мысли источнику примеров – романам Достоевского. Он напоминает, что произведения русского писателя были охарактеризованы Шелером как «пронизанные ресентиментом».

Ярким примером человека, подверженного этому чувству, выступает Смердяков

из «Братьев Карамазовых»: ощущение ущербности, связанное с двусмысленным положением бастарда, а также нигилистические воззрения, выливающиеся в речи о «ненависти к России», обнажают раздирающие его внутренние конфликты. Достоевский мастерски выписывает присущие Смердякову пороки, делая героя крайне отталкивающим. Своеобразным противовесом ему выступает еще менее симпатичный Карамазов-отец, который, способствуя унижению Смердякова, остается крайне далеким от «нормативного идеала» нищезанского аристократа. Тем не менее именно глава семейства становится тем, кто обнаруживает ресентимент и осуждает предательскую переоценку ценностей.

Затрагивая некоторые популярные трактовки романа, автор усматривает в них отрицание самой возможности предательства или некомпетентности со стороны элит: «изменников на престоле не бывает» (с. 242). Любые ошибки государственного строительства в такой логике предстают лишь частью необходимых государственных мероприятий. В этом дискурсе любое недовольство верхами воспринимается как маркер «черни», которая не в состоянии проникнуться «высокими государственными интересами» (с. 243). Такого рода недовольный «из народа, к престолу не близкий – однозначно предатель и не может рассчитывать на снисхождение», тогда как «барин в очередной раз оправдал себя» (с. 242). Впрочем, произведение Достоевского намного многогранное, образ Смердякова не столь однозначен, а в христианском мировоззрении нет места мифическому аристократу.

«Поэтому если Достоевский и выполнял идеологический заказ на дискредитацию неугодного русскому барину антипатриотического “либерализма”, то получилось это не слишком убедительно, с неустрашимым ощущением, что “что-то здесь не так”» (с. 250).

Начавшись как скромный исторический экскурс, описывающий эволюцию термина «ресентимент» и попутно уличающий классиков философской мысли в ангажированности, книга постепенно переключилась на дискурс-анализ современного политического мейнстрима. Посвященная этому часть повествования полна противоречивых утверждений, неоднозначных формулировок и половинчатых выводов, что вполне точно отражает состояние, в котором пребывает сегодня доминирующая парадигма. В результате автор оказывается в одном шаге от того, чтобы признать сам базовый концепт пустым понятием – манипулятивным инструментом в руках недобросовестного дискуссионщика. Иначе говоря, вопрос об объективности ресентимента как социального феномена, вынесенный в аннотацию книги, повисает в воздухе. Ответить на него предстоит самому читателю. Представляется, однако, что прочитавшие рецензируемый труд люди, столкнувшись в публичном поле с обвинениями того или иного лица в склонности к ресентименту, едва ли смогут отнестись к этому сколько-нибудь серьезно.

АНТОН КУТЕЕВ

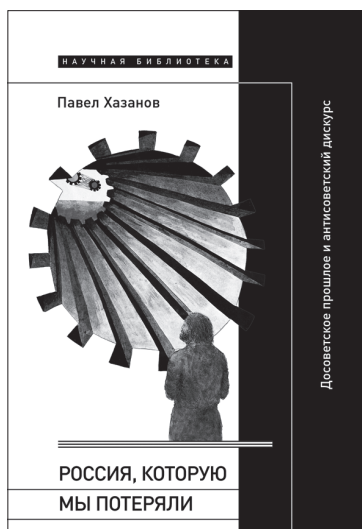
***Россия, которую мы потеряли.
Досоветское прошлое
и антисоветский дискурс***

ПАВЕЛ ХАЗАНОВ

М.: Новое литературное обозрение,
2025. – 248 с.

Профессор Ратгерского университета (США), специалист по культуре позднего СССР и постсоветской России Павел Хазанов рассматривает в своей книге использование исторического прошлого в актуальных прикладных интересах (до противоположности разнообразных) на материале одного

из наиболее ярких подобных случаев – восприятия дореволюционной России представителями власти и их противниками (как с либеральной, так и с почвеннической, и с монархической стороны), а также носителями массового сознания позднесоветских и постсоветских лет.



Использование, что интересно, оказывается (грубо) упрощающим и, в конечном счете, искажающим независимо от любой степени умственной и душевной тонкости использующих. А связанному с этим обольщению и самообольщению отдал дань, как показывает автор, не одни только циничные политики, идеологи и одиозные конформисты, не только представители «консервативного проекта современной России» (с. 17), но и такие стремившиеся к максимальной честности натуры, как, например, Анна Ахматова, Григорий Померанц, Юрий Лотман, Натан Эйдельман, Булат Окуджава (читателю, чьи симпатии всегда были на стороне этих культурных фигур, части книги, связанные с ними, интересны особенно, поскольку позволяют прорефлексировать неочевидное). Выбирая из прошлого нужные для себя элементы, они, как показывает автор, вполне разделяли некоторые основные

даже не представления, а модели умственного поведения со своими противниками и оппонентами – носителями, казалось бы, ценностей, совершенно противоположных (представления которых об утраченной прекрасной России прошлого здесь тоже анализируются). Да, элементы из прошлого для нужной им картины эти последние отбирали другие, но тем, что делало такой отбор возможным, обе стороны были очень родственны друг другу.

Идеализация «России, которую мы потеряли» (кто такие в каждом из случаев «мы» – отдельный интересный вопрос, Хазанов разбирается и с ним тоже) – вместе с антисоветским дискурсом, неотъемлемую часть которого она составляла, – сделалась, показывает автор, одной из важнейших идеологических и, шире того, настроенческих доминант первых постсоветских лет. Тех самых, когда газета «Коммерсантъ» обзавелась «ером» в конце своего названия, подчеркивая преемственность, которой никогда не имела; когда храм Христа Спасителя построили заново, а статус «исторического блокбастера», содержащего некое знание о прошлом, получил «Сибирский цирюльник». С домысливанием советских лет эта идеализация, многое от них унаследовавшая и, казалось бы, вполне им противоположная, несомненно, составляет один континуум. Устройство этого континуума, формы преемственности, ее причины и прослеживает автор.

Среди стимулов, побудивших Хазанова написать книгу, было и стремление разобраться в смысловой динамике российских 1990-х как собственного авторского несбывшегося, как непрожитой им самим истории его ровесников, оставшихся в России. Как сообщает автор в предисловии, в 1990-е он десятилетним ребенком уехал с родителями «в Сан-Франциско и

с тех пор мало бывал в России» (с. 7); он даже отчасти забыл русский язык, а затем учил его «заново, уже в аспирантуре» (с. 7). Благодаря «доисследовательской» биографии, сложившейся таким образом, автор приобрел точку зрения, очень выигрышную именно в исследовательском смысле: она обеспечила ему, с одной стороны, принадлежность к русской культуре¹, с другой – возможность взгляда извне на российскую гуманитарную сферу и жизнь вообще, свободу от здешних очарований, иллюзий, инерций восприятия. Лишенный пиетета перед российскими авторитетными (чтобы не сказать культовыми) фигурами, Хазанов с жесткой ясностью видит и с корректной прямоотой формулирует то, чего изнутри обыкновенно не разглядеть; по крайней мере разглядывать не очень стараются.

Только такая свобода и дистанция позволили ему увидеть, например, Григория Померанца и Юрия Лотмана («вероятно, главного советского ученого-гуманитария своего поколения», с. 61) как некритичных наследников очень старой, еще к XIX веку восходящей модели мировидения «имперской интеллигенции». Следствием такой (невольной?) некритичности стали, утверждает автор, значительные зоны слепоты у этих блестящих гуманитариев. Так, Померанца автор упрекает в слишком глубоком и послушном следовании досоветской и внесоветской интеллектуальной традиции: «Свои мысли он выражает, постоянно прибегая к цитатам из Цветаевой, Тютчева. Хомякова, Сергея Булгакова, Бердяева и других. Некоторые его эссе – кальки с работ досоветских мыслителей» (с. 51). Конечно, столь смелые утверждения нуждаются в аргументации, но Хазанов, увы, в данном случае обходится без нее и продолжает:

1 В отличие от американской академической аудитории, для которой писалась книга, Хазанов прекрасно представляет себе и фильмы Михалкова, и «рекламу 1990-х о сборе денег на постройку храма Христа Спасителя» в купе с «шутками Пелевина на эту тему» (с. 7), и еще много разного.

«[Померанц] никак не может расстаться с дорогими ему иллюзиями – что монолитная интеллигенция противостоит монолитному режиму, что существует разделение между теми, кто обладает духом интеллигенции, и теми, кто его лишен, что культурность есть необходимое условие непрерывной передачи традиционных истин относительно того, какова “подлинная культура”, кто ее “истинные хозяева” и враги» (с. 60)².

Такое построение сложных теоретических конструкций на базе дорогих сердцу либеральной московской интеллигенции иллюзий никоим образом не единично, а наоборот, как раз типично. Нечто подобное произошло с Юрием Лотманом, увидевшим в декабристах прежде всего положительных культурных героев, носителей образцов правильного поведения, оставив без серьезного внимания и революционную составляющую движения, и то, что они потерпели поражение, то есть их, как это выражается автор, политическую неэффективность:

«В известном эссе “Декабрист в повседневной жизни” Лотман утверждает, что благодаря семиотической передаче своей модели культурности декабристы изменили русское общество, хотя восстание 14 декабря 1825 года и закончилось провалом. Это им удалось потому, что они создали целостный облик высокоморального гражданина и затем посредством семиотики распространили эту “школу гражданственности” на социальную группу, далеко выходящую за пределы Северного и Южного обществ» (с. 61).

«Урок декабризма для Лотмана примерно тот же, что урок Пражской весны для Померанца: ему не слишком интересны ни политическая платформа декабризма, ни рассуждения декабристов о социальной реальности, ни их способность сформировать политический коллектив. Гораздо важнее способность дворян-революционеров

транслировать свою интеллигентность более широкому кругу людей и ослеплять их своей культурной утонченностью и неопределенным чувством “гражданственности”. Это расценивается как одно из достижений 1820-х, равнозначное поэзии Пушкина» (с. 62–63).

Таким образом, лотмановская концепция оказывается составной частью характерного для интеллигенции позднесоветских десятилетий, весьма властного над умами нарратива о декабристах – и, как считает Хазанов, имеет, в конечном счете, мифическую природу.

Используя тот же миф, показывает Хазанов в третьей главе, окликал «широкую аудиторию, сложившуюся в результате политики советского просвещения» (с. 89), и Александр Галич в «Петербургском романсе» 1968 года: «Можешь выйти на площадь, / Смеешь выйти на площадь / В тот назначенный час?!». А в результате «неодекабристская протестная риторика отозвалась далеко за пределами диссидентского круга» (с. 89) – именно потому, что в ней видели, узнавали *свое*. В этом мифе власть и ее противники, будучи носителями одного и того же культурного сознания, удивительным образом, как демонстрирует автор в той же главе, совпадали друг с другом:

«Если говорить о гуманизме в целом и декабризме в частности, между режимом и внешне противостоящим ему дискурсом либеральной оппозиции существовала зона *неразличения*, которую можно выявить в таких артефактах, как популярные книги о декабристах Эйдельмана и Лотмана» (с. 98, курсив автора).

Хазанов дает понять, что слепота «знаменитого основателя Тартуской семиотической школы» (с. 61) не была такой уж невольной. «Лотман намеренно не останав-

2 Отдельный вопрос, соответствовало ли это реальности того самого XIX века, который Померанц, выходя, напрямую продолжал. Понятно, что нет: продолжал он не реальность, но устойчивую, априорную идеологию, уже «вшитую», как выразился автор, «в досоветский интеллигентский дискурсивный Субъект» (с. 61).

ливался на том, что ему хорошо известно: на существовании альтернативного коллективного проекта имперской интеллигенции, то есть социалистического проекта» (с. 64), утверждавшегося образованными, но уж точно свободными от безупречных манер разночинцами.

«Лотман отвергает социалистический проект разночинцев как чуждый культурности, и Базаров, конечно, как нельзя лучше подходит на роль пугала. Само собой, Лотман знает, что среди разночинцев немало людей, внесших в русскую культуру куда больший вклад, чем декабристы на сибирском базаре. Возможно, Лотману кажется, что нет необходимости рассказывать эту историю, поскольку ее присвоила советская власть» (с. 64).

В рамках сходным образом устроенных прекраснотушных установок, продолжает Хазанов в следующей главе, люди 1960–1970-х видели в Василии Шульгине, доживавшем свой век во Владимире, крайне правом монархисте с фашистскими взглядами, милого интеллигентного дедушку, своего брата-интеллигента. И действительно, манеры его были безупречны. На закате дней Шульгин позиционировал себя как интеллигента – и ему легко поверили!

«В 1910-е Шульгина, черносотенца, служившего самодержавному царю, никто бы не считал интеллигентом. Но позднесоветский либеральный дискурс запутался в своих политических противниках» (с. 29).

Совершенно ту же природу, покажет автор далее, имеет идеализация Столыпина в постсоветские десятилетия; автор даже изобретает для этой системы взглядов – а это именно система, к личности главного героя не сводящаяся, – специальный термин: «столыпинизм», анализу которого посвящены пятая и шестая главы книги.

А вот даже не о сходстве – глубоком родстве – сходного. У Ахматовой, которую уж никак не упрекнуть в просоветских на-

строениях, в ее высказываниях о Пушкине автор усматривает минимальное (структурное) расхождение с позицией миллионов «рядовых сталинистов»: «может показаться, что расстояние между позицией Ахматовой и рядовых сталинистов огромно» (с. 45), но все как раз наоборот. И Анна Андреевна, и ее антиподы, утверждает Хазанов, присваивают Пушкина, приписывают ему собственные ценности: для Ахматовой он «единственный в своем роде поэт, властелин тысячелетнего царства культуры, гордо возвышающийся над всеми и увенчивающий своих наследников; [...] отчетливо элитарное общественное предназначение, воплощение аристократии в самом прямом смысле слова, добродетельный правитель, противостоящий лжеэлите, наделенной политической властью» (с. 45, курсив автора), а для «рядовых сталинистов» – «почти что крестьянский мальчишка-революционер в лаптях, и поэтому он “наш”» (с. 45). Роли разные, но механизм присвоения, вписывания в собственные схемы тот же самый.

В конечном счете, Хазанов утверждает, что ныне действующий консервативный проект, в противоположности которого либерализму трудно сомневаться, тесно переплетен с либерализмом (и с проектом интеллигентским, которому от автора достается немало жестких суждений) корнями, уходящими глубоко в советское время.

«Ощущение собственной интеллигентности, с которой либералам было так удобно идентифицироваться, само по себе отсылало к воображаемой потерянной эпохе расцвета дореволюционной интеллигенции» (с. 27–28).

«[Р]иторика либеральной интеллигенции», признает автор, сама по себе «еще не перетекала в упрощенческую антиисторическую ностальгию» (с. 28), хотя элементы таковой, как он показывает, в ней были. Идеологему «Россия, которую мы потеряли» породила, несомненно, не либеральная

интеллигенция, процесс перехода риторики в ностальгию довершили уже «противники либералов» (с. 28), но, опираясь «на анти-историзм, уже тогда присутствовавший в риторике либеральной интеллигенции»

«Они переиначили логику либералов на консервативный лад, превратив либеральное понятие об интеллигентности в *анти*-освободительную идеологию, звучавшую все же вполне убедительно и для либеральной точки зрения» (с. 28).

Так либералы оказались в невольном союзе со своими противниками.

Рассматривая идеологическую динамику позднесоветских и постсоветских времен, автор добирается – не ставя себе этого целью специально – до проблем куда более принципиальных; а у его исследования, таким образом, оказывается не только историко-культурный, историко-идеологический, но и антропологический пласт. Анализируя историю домысливаний царской России, приписывания ей значений в последующие эпохи, Хазанов тем самым рассматривает и действие тех механизмов, которые гораздо глубже, а потому и гораздо коварнее намеренного обмана и самообмана. Книга эта отчасти о том, как человек вообще, даже будучи вооружен самыми конструктивными установками и самыми достойными принципами, даже обладая основательными знаниями, из лучших побуждений поддается соблазну подгонять изучаемую реальность под собственные ожидания, потребности, привычки, ценности, цели.

Хазанов рассматривает проблему неминуемо неполной прорефлексированности (возможно, и принципиально неполной доступности для рефлексии) оснований собственных суждений человека – даже очень квалифицированных. О неквалифицированных и говорить нечего.

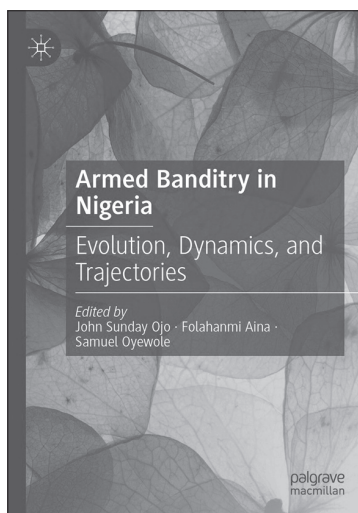
Ольга Балла-Гертман

БАНДИТЫ НИГЕРИИ

Armed Banditry in Nigeria: Evolution, Dynamics, and Trajectories

JOHN SUNDAY OJO, FOLAHANMI AINA,
SAMUEL OYEWOLE (Eds.)

Cham: Palgrave Macmillan, 2024. – 311 p.



По-видимому, многие из тех, кто читает сейчас эти строки, получали когда-то так называемые «нигерийские письма» – спам-послания, авторы которых, представляясь бизнесменами, вдовами, проповедниками, чиновниками, на хорошем английском языке предлагали получателю присоединиться к тому или иному коммерческому проекту, сулящему баснословную отдачу. Чтобы вступить в дело, требовалось немного, а именно: направить авторам компактный набор личных данных, включая номер банковской карты, куда будет поступать прибыль. Честно говоря, я с трудом представляю себя человека, готового «кликнуть» на подобную рекламу, но, судя по тому, с какой регулярностью лет десять–пятнадцать назад приходили такие послания, бизнес по-настоящему процветал: во всезнающей Википедии даже появился материал на эту тему, а в самой Нигерии оформился специальный правоведческий термин

«четыре-один-девять», отсылавший к статье 419 Уголовного кодекса страны, в которой описывалось мошенническое выманивание денег без применения насилия.

«Нигерийские письма», однако, не являются детищем интернета, как можно было бы подумать; этой забаве не 25, а целых пятьдесят лет, и сначала их рассылали в почтовых конвертах с красивыми африканскими марками. Местные ученые, пытавшиеся объяснить происхождение этого феномена, связывают его с войной в Биафре 1967–1970 годов: по мысли одного из них, «это жульничество родилось как тактика выживания в голодное послевоенное время», тесно соседствуя с другой порожденной военными лишениями формой присвоения чужого имущества – вооруженным грабежом³. По прошествии времени грабеж отступил в тень, а «послания-419», ставшие к тому моменту электронными, напротив, вышли на первый план. Такая ситуация сохранялась довольно долго – до тех пор, пока в минувшие полтора десятилетия наблюдатели вдруг не зафиксировали попятного движения: Нигерия стремительно превратилась в страну, где не подчиняющиеся государству люди с оружием опять, как в годы гражданской войны, стали огромной общенациональной проблемой.

Рецензируемый сборник статей посвящен именно этой беде. Его авторы – в подготовке книги участвовали два десятка нигерийских специалистов – попытались осветить три тематических среза, каждому из которых посвящена отдельная часть сборника: причины и природа нынешнего нигерийского бандитизма, последствия этого явления, способы борьбы с ним. Как и положено, анализ начинается с генезиса, который предстает многофакторным и комплексным. Вместе с тем в ряду при-

чин, которые вновь актуализировали нигерийский вооруженный бандитизм как разновидность преступной деятельности, есть одна доминирующая: это потепление климата, наиболее пагубным образом отражающееся именно на африканских государствах. Там, где и без того было жарко, сейчас становится еще жарче, и это угрожает не только хозяйственным практикам, но и политическим порядкам. Нигерия в полной мере подтверждает предположения специалистов о том, что максимальный урон изменение климата на планете наносит не богатым, а бедным регионам⁴.

На африканском континенте действие этого губительного механизма раскрывается прежде всего через конфликты между скотоводческими (кочевыми) и земледельческими (оседлыми) сообществами, обострившиеся из-за усугубляющейся нехватки пресной воды. Как отмечают Джон Сандэй Ойо (Университет Портсмута), Фолаханми Айна (Университет Лондона) и Сэмюел Ойеволе (Университет Ойе-Экити, Нигерия) в вводной главе «Природа вооруженного бандитизма в Нигерии» (р. 3–13), в зоне Сахеля, в частности, «оскудение ресурсов, которое усугубляется глобальным потеплением, делает уязвимыми кочевые хозяйствующие группы, которые, оказываясь не в состоянии мигрировать в места, где ресурсы в изобилии, вынужденно вступают в конкуренцию с местным оседлым населением, порой оборачивающуюся жесткими столкновениями между скотоводами-пришельцами и земледельцами-хозяевами». Борьба ведется прежде всего за воду, в которой жизненно нуждаются как те, как возделывает землю, так и те, кто пасет скот.

Водные ресурсы между тем стремительно иссякают, о чем выразительно говорят цифры, которые приводят Олуволе Ойевале

3 DALY S.F.C. *A History of the Republic of Biafra: Law, Crime, and the Nigerian Civil War*. Cambridge: Cambridge University Press, 2020. P. 11.

4 См., например: Уоллес-Уэллс Д. *Необитаемая Земля. Жизнь после глобального потепления*. М.: Индивидуум, 2020. С. 61–186.

(Институт исследований безопасности, Дакар, Сенегал), Тосин Осасона (Центр изучения альтернатив публичной политики, Лагос, Нигерия) и Йекин Шамсудин (Университет Гвельфа, Канада) в главе «Изменение климата и вооруженный бандинизм на северо-западе Нигерии: синергия нестабильности» (р. 15–42). Согласно подсчетам специалистов, к 2050 году из-за климатической волатильности реки Сахеля обмелеют на 20–40%, а количество выпадающих в регионе осадков уже сейчас на 25% меньше, чем тридцать лет назад. Это, в свою очередь, интенсивно сокращает площади обрабатываемых земель и пастбищных угодий нигерийского северо-запада, за полвека уменьшившиеся на 35%. Естественно, такая ситуация с неизбежностью чревата насилием, что ярко проявляется в штатах Нигерии, находящихся в зоне Сахеля или примыкающих к ней (Замфара, Кебби, Кацина, Сокото, Нигер, Джигави, Йобе, Борно): здесь на протяжении двух последних десятилетий кочевники-фулани сражаются за выживание, причем буквально, с земледельцами-фулани. Конфликты кочевых и оседлых общностей являются столь же древними, как и сама человеческая цивилизация, но прежние модусы климатического равновесия позволяли разрешать их мирным путем⁵. В настоящее время, однако, обращение к силовому инструментарию превратилось из исключения в правило.

Ключевыми акторами этого противостояния выступают отряды самообороны и ударные группы, на ранних этапах, в 2011–2012 годах, созданные земледельцами и скотоводами для сдерживания друг друга. Причудливая эволюция этих «народных милиций» очень скоро привела к тому, что они начали обрывать свои связи с породившими их общинами, превращаясь в самостоятельных «силовых предпринимателей»: деревенские ополчения, как пишут

авторы упомянутой выше главы, «выжрались в чисто криминальные группировки, единственной целью которых становился грабеж как земледельцев, так и скотоводов без всякого разбора». В итоге к настоящему моменту конфессиональная или этническая принадлежность жертв не играет в целенаправлении многих из этих банд почти никакой роли: скажем, вооруженные банды фулани (или хауса) могут разорять мирные общины и своих соплеменников тоже, не испытывая ни малейшего смущения.

По мере того, как на северо-западе оскудение осадков, сокращение пастбищ и пашни, а также мощное демографическое давление экономически обесценивают сельскохозяйственный труд как таковой, вооруженный грабеж превращается для мужчин из глубинки чуть ли не в единственный способ прокормить себя и свои семьи. Подчиняясь «невидимой руке рынка», они массово выбирают этот путь, покидая свои делянки или пастбища, уходя в леса и становясь классическими разбойниками. Совокупная численность подобных банд, действующих на северо-востоке страны, точно неизвестна, но, согласно подсчетам, приводимым в книге, в регионе около 120 больших и малых бандитских лагерей, обитатели которых имеют в распоряжении 60 тысяч единиц автоматического оружия (по большей части это «любимец» Африки – знаменитый АК-47). Некоторые полагают, что численность бандитов только в штате Замфара – одной из семи административных единиц, составляющих нигерийский северо-запад, – достигает 30 тысяч человек. Количество жителей всего рассматриваемого региона, погибших от огнестрельного оружия в 2013–2021 годах, превысило 50 тысяч. Так спорадические конфликты низкой интенсивности, вспыхивавшие по поводу доступа к природным ресурсам, всего за пятнадцать лет превра-

5 См.: Гришина Н.В. *Некоторые аспекты животноводства в странах Африки* // Ученые записки Института Африки РАН. 2024. № 1(66). С. 66–79.

тились в масштабный и общенациональный кризис безопасности, угрожающий самому существованию государственности.

Действительно, в настоящее время Федеративная Республика Нигерия столкнулась с «альтернативным государством», настойчиво утверждающим свою монополию на насилие в тех частях страны, где федеральные власти практически отсутствуют. В таких северных штатах, как Замфара, Кацина или Сокото, безраздельно господствующие в отдаленных сельских районах вооруженные бандиты, сформировав собственную администрацию, контролируют экономическую деятельность и взимают налоги. В некоторых частях штата Замфара, например, местные крестьяне с 2021 года вынуждены официально подписывать соглашения с бандами, «покупая» у них мирную жизнь. Выставляемые счета впечатляют: в регионе, где большая часть населения существует за чертой бедности, безопасность одной деревни может обходиться в 10 тысяч долларов США, причем срок оказания «услуги» не фиксируется и может произвольно изменяться «исполнителем». Отказы выплачивать транши, предусмотренные такими соглашениями, влекут за собой нападения десятков, а то и сотен вооруженных мотоциклистов на населенные пункты, сопровождаемые убийствами или похищениями людей.

Рассказывая обо всем этом в одной из глав второй части книги – «Изгнанные и забытые: как вооруженный бандитизм провоцирует гуманитарный кризис на северо-западе Нигерии» (р. 77–100), – Фолахани Айна и Джон Сандэй Ойо отмечают, что в силу подобного положения вещей Нигерия обзавелась огромным числом внутренне перемещенных лиц: согласно данным Международной организации по миграции, на весну 2023 года число таковых в севе-

ро-восточной зоне превышало 600 тысяч человек, причем 60 тысяч из них бежали в соседнюю Республику Нигер.

В интерпретации авторов сборника современная Нигерия предстает хрупким государством, неспособным выполнять свои базовые функции: прежде всего – обеспечивать безопасность граждан. Как отмечают Эл Чуквума Околи (Федеральный университет Лафии, Нигерия) и Элиас Чуквуэмека Нгву (Нигерийский университет в Нсукке, Нигерия) в главе «Царство террора в Нигерии, обличаемое и скрываемое: вооруженный бандитизм и государственная расслабленность» (р. 101–120), засилье бандитизма на северо-западе страны нужно рассматривать в более широком контексте, включающем также восстание исламистской группировки «Боко Харам»⁶ на северо-востоке, сепаратистское брожение на юго-востоке (на территории бывшей Би-афры) и партизанскую активность в дельте реки Нигер. Одним из вернейших показателей хрупкости государства выступает разнообразие террористических вызовов, с которыми оно сталкивается. При этом вооруженные банды северо-запада вносят значительный вклад в то, что Нигерия многие годы остается страной повышенных рисков в сфере безопасности: так, согласно данным Глобального индекса терроризма (Global Terrorism Index), «гигант Африки» в 2024 году занимал шестое место в ряду стран, максимально страдавших от террористических атак, уступая лишь Буркина-Фасо, Пакистану, Сирии, Мали и Нигеру⁷.

Государство же в свою очередь не в состоянии поправить ситуацию: с одной стороны, оно фактически потворствует бандитам, разрешая платить выкуп за похищенных и заключая с ними тактические сделки, а с другой стороны, у него просто недостаточно силовых ресурсов, поскольку,

⁶ Организация запрещена в Российской Федерации.

⁷ См.: INSTITUTE FOR ECONOMICS & PEACE. *Global Terrorism Index 2025: Measuring the Impact of Terrorism*. Sydney, 2025. P. 20 (<http://visionofhumanity.org/resources>).

как сообщается в той же главе, правоохранительные органы вопиюще недоукомплектованы. Некоторые цифры, приводимые в книге, сражают наповал: например, в северо-западном штате Кацина, где вооруженные банды скотоводов-фулани наиболее активны, в 2021 году на восемь миллионов жителей приходились всего три тысячи полицейских, что рождает закономерный вопрос: можно ли вообще ожидать эффективной работы от полиции, в которой один сотрудник отвечает за 260 тысяч (!) граждан? На уровне федерации в целом соотношение более благоприятно, но это не отменяет другого удивительного факта: оказывается, 20% личного состава нигерийской полиции перманентно задействованы в охране политиков, бизнесменов и прочих знаменитостей – в основном, естественно, на коммерческой основе.

Если верить авторам рецензируемого сборника, нигерийское государство на фоне всего этого кошмара демонстрирует состояние, близкое к безмятежности. Несмотря на то, что термин «экстремисты-фулани» как минимум с 2015 года превратился в официальное понятие, используемое, в частности, создателями только что упомянутого Глобального индекса терроризма, власти Федеративной Республики Нигерия нарочито не спешили увязывать преступления подобных группировок с террористической деятельностью: лишь в 2022 году, после десятилетия бесчинств и безобразий, буквально перевернувших северо-запад страны, бандиты из этого региона были официально приравнены к террористам.

Как указывает Чарльз Экпо (Университет Ибадана, Нигерия) в главе «Вооруженный бандитизм, нигерийское государство и политика правовой квалификации терроризма» (р. 121–146), нигерийское гражданское общество критикует правительство не только за недопустимую медлительность,

но и за лицемерный отказ использовать в отношении бандитов-фулани этнические маркеры. В официальном дискурсе их этническая принадлежность неизменно и старательно затушевывается (как любил повторять президент Мохаммаду Бухари, руководивший страной в 2015–2023 годах, «преступники есть преступники») – хотя в отношении, скажем, движения «Коренной народ Биафры» («Indigenous People of Biafra»), объявленного нигерийскими властями террористическим в 2017 году, подобной сдержанности совсем не наблюдалось: до самого его возвращения в правовое поле, произведенного судом в 2023-м, его однозначно ассоциировали с общностью игбо – и ни с кем другим.

Двойные стандарты официоза, как и полагается, рождают концепции заговора. Их сторонники подозревают, что за возмутительным промедлением федеральных властей, долгое время отказывавшихся называть вещи своими именами и официально объявить бандитов-фулани «террористами-фулани», скрывались резоны этнорелигиозного свойства:

«Поскольку разбойники [северо-запада], подобно [бывшему] президенту страны и верхушке нигерийских силовых структур, по большей части сами являются фулани и мусульманами, бандитское дело, похоже, вызывает у них как симпатию, так и эмпатию»⁸.

Оценивая это любопытное рассуждение, обратим внимание на три обстоятельства. Во-первых, написавший это нигерийский ученый, даже не поддерживая такой гипотезы лично – по его мнению, государство все-таки просто разленилось, – считает ее выдвижение вполне оправданным, а это весьма лестно характеризует свободу высказываний в современной Нигерии. Во-вторых, высокопоставленные нигерийские

8 Ср. оригинал: «the government is sympathetic and empathetic to the bandits' cause».

чиновники, прежде всего в штатах северо-запада, своими поступками и заявлениями нередко подкрепляя это «политически некорректное» предположение. Ничуть не стесняясь, эти люди или публично говорят, что северо-западный бандитизм есть своего рода бизнес, в котором нет ни грана политики, или настаивают на том, что виновность бывших скотоводов, взявших в руки автоматы и гранатометы, произрастает из нанесенных им социальных обид, а потому с бандитами надо не воевать, а договариваться – и, желательно, массово их амнистировать. Последнее, как подчеркивается в книге, торпедирует всю государственную стратегию борьбы с бандитизмом. Наконец, в-третьих, можно предположить, что от полноценного обличения экстремистов из числа фулани Абуджу удерживает еще и то, что две мусульманские общности нигерийского Севера, которые ныне ссорятся друг с другом, раньше интерпретировались как чуть ли не единый народ. Вот пример типовой дефиниции, воспроизводимой в одной из нигерийских онлайн-газет:

«Хауса и фулани являются двумя этническими группами, которые в прежние времена были разными, но теперь слились друг с другом до такой степени, что превратились в неделимое этническое целое»⁹.

Действительно, в нигерийской этнической статистике их, как правило, даже не отделяют друг от друга и суммируют. Кстати, именно этот конгломерат выступал основой обобщающего термина «нигерийский Север» – им принято обозначать ту часть местного социума, которая более полувека назад сокрушила самопровозглашенную Республику Биафра. Поскольку элиты северян находятся у власти по сей день, нынешняя распря в рядах единоплеменников ожидаемо оказалась для них крайне болезненной, и потому они, на-

сколько возможно, стараются не акцентировать ее.

Что же свергло Нигерию в несчастья, описанные выше, и что делать со всем этим? Казим Ойеделе Ламиди (Университет Обафеми Овалово, Иле-Ифе, Нигерия), открывающий третью, заключительную, часть книги главой «Нигерийское государство и война против вооруженного бандитизма» (р. 221–250), сводит причины в один простой список, выделяя в нем хрупкость государства и слабость его институтов, в особенности силовых структур; наличие обширных и не контролируемых властными агентствами малозаселенных пространств; проницаемость государственных границ и беспрепятственное просачивание через них оружия; несостоятельное политическое лидерство, чудовищную коррупцию, массовую безработицу и повальную бедность.

Готовность столь самокритично взглянуть на собственную страну заслуживает уважения – нигерийские авторы, кстати, со своей Нигерией совсем не церемонятся, и для российского читателя это скорее всего будет открытием. Но в глаза между тем сразу бросается другое: ведь подобная комплексная дескрипция приложима, вероятно, к большинству африканских государств! И что же означает сказанное? Похоже, Нигерию можно рассматривать в качестве модельного кейса, отражающего судьбу не одной, пусть и огромной, страны, но целого множества стран. Причем эта судьба, как представляется из дня сегодняшнего, отнюдь не такова, какой она виделась несколько десятилетий назад, когда африканские страны в массовом порядке получали независимость.

Но, если обновление по западным лекалам не задалось почти нигде, означает ли это, что путь в модерность для великого «черного континента» закрыт навсегда?

⁹ Цит. по: Omotolani. *Fulani and Hausa: What's the Difference?* // Pulse Nigeria. 2022. July 18 (www.pulse.ng/articles/lifestyle/food-and-travel/fulani-and-hausa-whats-the-difference-2024073111402608439).

Нет, не означает, ибо пресловутый «крот истории» продолжает рыть – просто в результате его работы появится, по-видимому, *другая* модернность, далеко не во всем похожая на оптимистичные образы, которыми мы по привычке продолжаем оперировать и сегодня¹⁰. Никто, впрочем, и не обещал, что новый мировой порядок, громко приветствуемый ныне многими, окажется чем-то таким, что нам понравится. Следовательно, хотим мы того или нет, но бандиты нигерийского северо-запада вполне могут выступить суровым провозвестием нарождающегося прямо сию минуту не очень

светлого завтра, ибо где-нибудь полвека назад, при *старом* порядке, их вообще не было в природе – как, собственно, и многих других малосимпатичных вещей, ворвавшихся в жизнь буквально у нас на глазах. Невольно задумаешься: уж лучше бы, ей-богу, старые добрые «нигерийские письма»... Вкупе, разумеется, с тем понятным миром, по просторам которого их рассылали африканские жулики.

АНДРЕЙ ЗАХАРОВ, доцент кафедры
теоретической политологии факультета
политологии РГГУ

10 О том, что Африка будет входить в модернность по-особому, см., в частности: Бондаренко Д.М. *Постколониальные нации в историко-культурном контексте*. М.: Издательский дом ЯСК, 2022.